

ИВАН ТЕРТЫЧНЫЙ



ЗЕЛЁНЫЙ СВЕТ

РАССКАЗ

Увы, немало среди нас людей, которые опасливо глядят на живое мерцание леса.

Я говорю сейчас не о сибирской и дальневосточной тайге (это не море даже, а целый океан) и не о женщинах и детях (современное воспитание делает своё дело), я имею в виду пышные царства Подмосковья или, скажем, Брянщины, а также, скорее, мужчин среднего возраста — и частенько — “при должностях”. Люди же постарше и попроще, захватив на всякий случай лукошко, входят в лес, словно в дом родной — без настороженности, без шума, без суеты.

Похоже, к их числу принадлежу и я.

Моё детство и юность прошли в лесостепном краю, и мне одинаково близки и открытые холмистые просторы, и тихие тенистые тропы, и потому я, с малых лет сроднившись с ними, шагаю всякий раз без оглядки туда, куда мне надобно, — днём ли, ночью ли, на закате... “Не больно ли расхрабрился?” — усмехнётся кто-то. Да какой я храбрец! Обычный человек. Просто я не боюсь себя, не опасаясь остаться наедине с собой; наедине с деревом или кустом в лесу; наедине с лесом; наедине со степью или полем. Вот и вся моя храбрость. “Да почти все такие...” — вновь усмехнётся кто-то. Не скажите. Есть у меня сосед, милый, отзывчивый человек (легко назову ещё двух-трёх, в чём-то похожих на него). Стоит его жене уехать на недельку к родственникам, он начинает дико пить; и не потому ему вовсе удержу нет,

---

*ТЕРТЫЧНЫЙ Иван Алексеевич родился в 1953 году в Курской области. Служил в армии, работал на стройках. Окончил факультет журналистики МГУ им. М. В. Ломоносова. Автор книг “И было утро”, “Рядом”, “Подорожная”, “Когда-нибудь...”, “Лунный снег”, “Живая даль” и других. Член Союза писателей России. Живёт в Москве.*

что не мог при своей половине (да ещё пребывая в заслуженном труде отпуске) изрядно выпить... всегда, пожалуйста!.. А тайна проста: “Я не могу быть один”. Упомянутые мною “два-три знакомых” — при схожих обстоятельствах — судорожно мечутся по городу, посещая полузабытых товарищей, дальних родственников, нелюбимых тещ и прочая. Вот вам и “все”! И вот ещё: боясь невольного уединения, мой сосед, будучи на даче, почему-то робеет и перед лесом, хотя на людях время от времени признаётся, нежно вздыхая: лес для него — отрада, единственное отдохновение!.. Но, насколько мне известно, лет за двадцать нашего знакомства он редко бывает на опушке недалевого бора. А войти вглубь, шагов на двести, духу не хватает, что ли... Вот такая вот у него отрада.

Куда, кажется ни пойдёшь, ни поедешь — встретишь Серёжу-горбуна: то он вертит лохматой головой на автобусной остановке в Карповке, то выбредает на дорогу из зелёного пшеничного поля у калгановской церкви, то солидно восседает с кружкой пива за столиком на автозаправке у шоссе.

Появился Серёга в Тягунках лет пять-семь назад. Вроде бы приехал издалека, чуть ли не с Урала, погостить у тётки, да так тут и застрял. Серьёзное занятие у него всего-то одно — чтение книг. Раз в неделю он ставил на багажник велосипеда старую хозяйственную сумку со стопкой книг и ехал в библиотеку; потом, так же мерно крутя пыльные педали, возвращался домой с обновлённым содержимым сумки. Когда соседки, прищурив глаза, спрашивали, что читает племянник, Дашута отвечала не хитря, как есть: “Гастрономию изучает, про космос тоись...” Днём, в подходящую погоду, он куда-то уходил, а по ночам на веранде дома Дашуты долго светилась белая занавеска...

Как-то, тихо ступая по утренней тропе, я увидел Серёгу на лесной полянке. Горбун, широко крестясь и шевеля губами, молился. Его несоразмерные телу длинные крепкие руки, пришпиленная недумом фигурка производили странное впечатление. И если бы не строгий светлый профиль, то его можно было бы принять за некоего большого жука или что-то вроде того. Но лицо... наполненное вдохновением лицо всё искупало: и неловкость сложения, и тонкоголосое бормотание, и непонятность его нахождения в минуты молитвы — не в доме перед образами в красном углу, не в храме, а тут, в нелюдимом лесу. Хотя, ясное дело, человек молится там, где его душа желала; но был-то горбун не середь пустыни широкой, а близ приотвистшего его крова. Пришел же сюда... И были, выходит, этот лес, эта усыпанная солнечным сиянием поляна неким живым храмом, окружённым птичьим щебетом, мягким движением воздуха...

Я, стараясь быть не видимым и не слышимым ему, проскользнул мимо.

Эта нечаянная встреча напомнила мне о другой — в Дивееве.

Наш автобус остался на ночь на стоянке близ стен Серафимо-Дивеевской обители, а мы отправились в сопровождении знакомого человека куда-то на окраину селения. В сумерках нашли гостиницу для паломников — несколько приземистых деревянных строений — и устроились на ночлег.

Несмотря на усталость, спал я не крепко и встал довольно рано, едва солнце глянуло в окно. Я вышел на улицу, чтобы осмотреться. Трава густо темнела под тяжёлой росой; с поля тянуло знобящим ветерком. Я свернул за угол гостиницы и... замер. Шагах в двадцати от меня, стоя на коленях, молились четверо. Справа был, судя по виду, отец семейства, крепкий мужчина с седой окладистой бородой, рядом с ним, похоже, жена, пониже мужа ростом, крепенькая, в тёмном платке, и два подростка лет четырнадцати-шестнадцати. И смотрел я на эту семью секунд всего несколько, но запомнил их моление на годы. И то, как истово, размашисто накладывал на себя крест мужчина, и как он бил поклоны, как ровно гудел его приглушенный голос, и полные жаркой веры поклоны его жены, и её воздыхания, и отточенные взмахи рук их сыновей, и освещенные восходящим солнцем лица... Все четверо были охвачены одним живым, слитным порывом. Окликни, пальни из ружья — не услышат.

Что привело эту сплоченную семью в Дивеево? — подумал я в ту минуту. — Переполюющая сердца благодарность за нечаянную радость? Внезап-

ная беда? Выпавшая возможность приложиться к мощам преподобного? Бог весть...

Оторвав взгляд от раскрытой книги, увидел в окно семяющего Серёгу-горбуна. Вот свернул с края поля на опушку — и остановился. Видно, решает, куда направить свои стопы. Что он ищет? Зачем нужны ему эти ежедневные походы? Ищет метеорит (“гастрономию изучает”) или целебные корни? Изучает окрестный мир? Спросил бы, понятно, давно, да неловко. А вдвойне неловко потому, что у него, сами понимаете, особая статья в этой жизни. И ничего тут не поделаешь.

Горбун замысловато взмахнул рукой, словно нарисовал в воздухе знак бесконечности, ступил под сень орешника...

И я продолжил чтение.

“...А сегодня утром я вышел из кордона часа в четыре. Свет ещё чуть брезжил в той стороне, где наметился во мгле восток дня, и лишь высоко над горизонтом, там, где кудрявились серым рукавом небольшие клочковатые облака, тёплые густо-розовые лучи ещё запредельного солнца окрасили облачные волны снизу. Не счастье было этих поднебесных волн, океан надвигающегося на землю света был, наверное, велик и прекрасен, но я шёл, спотыкаясь, в предзвездной полумгле, и мне было не холодно, не одиноко, не страшно...”

— Эй! Ну, иди, иди! — Два мальчугана, схватив козу за рога, тащат её по улочке на выпас. Коза, сделав два-три шажка, упирается копытцами в землю и поматывает головой. — Иди, дурочка, иди!

И почему бы ей, дурёхе, не бежать вприпрыжку на зелёный лужок? Не знает своего счастья? А ведь будет скоро щипать сочную траву и трясти от удовольствия бородакой...

“...Но тут я услышал пронзительные переливчатые звуки, внезапно наполнившие пустоты лесной тишины, признал в них журавлиный крик и, напрямик проследовав к нему, вскоре вышел из полумрака леса на край залитого зелёным солнцем широкого поля. Два журавля снялись и полетели прочь, по широкой дуге огибая видневшуюся вдали деревню. Их было два...”

У колодца встречаю Михайловну, соседку. Она ставит ведро с водой на траву, убирает руки под передник и рассказывает о своих очередных заботах: какие грядки поливала, какие полола...

— А, видишь, горбунок идёт! — прерывает Михайловна свой отчёт и показывает рукой на проулочек.

— Постой, поговори с нами, Серёженька! — машет она. Серёга замедляет свои быстрые шаги и останавливается рядом. — И куда это ты всё торопишься? — прищуривается Михайловна. — То — туда, то — сюда... Ногам своим покоя не даёшь. Посидел бы, отдохнул...

— На том свете отдохнём, — серьёзно, по-стариковски отвечает Серёга, приглаживая широкой ладонью вихры. — Движение — жизнь, покой — смерть.

— О Господи! Да что ты говоришь! Какая смерть... Жить да жить ещё... И горя не зная.

— Люди боятся жить. Разучились... Хотят улететь... То водки дай, то наркотиков, то телевизор... Какая тут жизнь? — возражает Серёга.

— Дурак ты, Серёжка, — говорит Михайловна. — Так ведь? — Она оборачивается ко мне, ища поддержки. — Надо жить. Только умеючи.

— Если умеючи, то, конечно... — соглашается Серёга. И, помахивая сорванным на ходу стебельком, идёт своим путём.

Редкостное лето выдалось в нынешнем году. Дождей — в меру, жары нещадной нет, ветерок гуляет по зелёным просторам... Чего ещё желать человеку — и трудящемуся, и отдыхающему? Большого-большого счастья? Неохватной свободы? Мне, допустим, хватает и счастья моего, и свободы моей, и дела моего. Одного мне сейчас не хватает — запаха горькой степной полыни. Не водится она в тихом лесном краю. Шагнуть бы, шурясь от солн-

ца, с вагонной подножки на низенькую платформу станции, к примеру, Поныри или Ржава, да выйти на полевую дорогу, да по дороге той, где над обочинной полынный жаркий дух... Да разве отпустят из зелёных объятий неоконченные дела? В конце лета или ранней прозрачной осенью, разве что...

Глядя из окна городской квартиры на заснеженный двор, я вспомнил кстати ещё одну встречу, ещё одного человека, дядю Васю.

Лет сколько-то назад волею счастливого случая оказался я в Забайкалье, на берегах реки Онон, где, как уверял меня местный краевед В. К., и появился на свет “потрясатель вселенной” Чингисхан. А чтобы усилить своё утверждение и окончательно убедить меня в достоверности сего факта, повёл меня в местный краеведческий музей. Когда же я с немалым интересом познакомился с экспозициями, посвященными истории и жизни коренных жителей бурят, а также узнал новые странички из былого — о забайкальском казачестве, например, В. К. увлёк меня в соседнюю комнату (зал); там разместились работы местных художников.

— Вот! — указал он на исполненный в тёмных тонах портрет. — “Мать Чингисхана”.

Картина и вправду завораживала. Женщина в чёрном... степной простор... Лицо и глаза полны и решимости, и нежности, и скорби...

— Это мать “потрясателя вселенной”...

Когда мы вышли из уютной притенённости музея на яркий хрустящий снег под сияющим небом, мой спутник, мельком глянув на меня, вдруг улыбался и сказал совсем неожиданное:

— Да ладно! Степь степью... Ещё время раннее, может, махнём в тайгу? Позвоно-ка я Виктору Баировичу, другу...

— А тайга-то откуда? — Я повёл рукой перед собой, указывая на припорошенные сопки, на выющиеся между ними распадки и речную долину. — Тут же степь да степь кругом...

— Да, да, да... Степь, степь... — радостно кивнул В. К. — Да, да... — И почему-то добавил: — А снег... снег ветром уносит...

За изгибом речной долины взгляду открылась реденькая роща из десятка раскидистых сосен. Это была приятная неожиданность. Я не мог оторвать от деревьев глаз. Ещё бы! За сотни три километров — от железнодорожной станции до Онона — я не видел ни одного дерева по пути следования (или плохо посматривал через затуманенные морозом стёкла автобуса?). А тут такие вольные красавицы!

И всё же я не удержался от колкости:

— Как ни фантазируй, а всё-таки это не тайга...

— Не тайга, не тайга... Да, да, да...

Это повторение слов “степь, степь...”, “не тайга, не тайга...”, эти “да, да, да...” показались мне издёвкой, и я коротко глянул на спутника-краеведа. Но нет, он улыбался, глаза искрились радостью; он просто радовался как ребёнок. Чему? Может, кстати случившейся поездке или, может быть, ясному синему небу, а может, тому, что показал мне картину, и она произвела заметное впечатление...

Виктор тоже улыбался-усмехался, приоткрыв сахарно-белые зубы.

Много ли нужно для радости человеку степей?

А человеку лесов и полей?..

...И вот мы втянулись в длинный распадок (большой лог), а когда, наконец, повернули, появились заросли краснотала и... путь машине преградил чуть присыпанный снегом ручей. Виктор остановил “уазик”, включил передний мост, и машина, покачиваясь, выползла на другой берег. Впереди замелькал кустарник, потом он перешёл в поросль вроде подлеска, и вот глазам широко открылся лес! Тайга!

И сколько же мы отмахали? Да километров тридцать-сорок всего, наверное. Вот тебе и “степь да степь кругом”... Неужели я в самом деле боялся розыгрыша или чего-то ещё в подобном роде?

Петляющая в чаще дорога привела нас к поляне, на которой и стоял дом лесника дяди Васи.

Он встретил нас на крыльце в накинутом на плечи полушубке, в высоких валенках и шапке-ушанке, словом, как и положено выходить на мороз основательному человеку. Роста он оказался совсем невысокого; когда мы пожимали друг другу руки, то я увидел, что он смотрит на меня синими большими глазами снизу вверх. Неловко как-то, но что поделаешь... Он, думаю, почувствовал моё неловкое положение и по-свойски хлопнул по спине:

— Заходи, заходи...

После обеда дядя Вася встал первым из-за стола. Натянул на себя серый свитер ручной вязки, надел полушубок, прижал ладонью тёмные вихры и уверенным баском прогудел:

— Ну чо, пойдём в тайгу на погляд?

Мы тоже оделись в предложенные хозяином ношенные валенки и полушубки (то ли из его запасов, то ли охотниками оставленные до случая) и отправились в недолгий путь. Впереди, по-хозяйски уверенно ступая, шёл лесник, ну а следом брели мы, его гости. Не знаю, часто ли к нему приезжали, но, видимо, он был рад приветить гостей прошеных, но и нам, непрошеным, чувствовалось, был рад.

То там, то сям с лап больших сосен срывались комочки мягкого снега и, рассыпаясь в полёте, искрясь, сеяли в воздухе невесомое серебро...

Впереди, за кустарником, за клубилось что-то тёмное, непонятное — и через тропу, взмывая над двухметровым подлеском, птицами — поочерёдно — перепорхнули пять-шесть косуль... Вот это прыжки!.. Я думал, что дядя Вася вскинет ружьё и... Дядя Вася будто почувствовал, что я мысленно помянул его, и, не оборачиваясь, перевёл моё внимание на другое:

— Это у вас там, на Западе, охотнички ружьё дулом вниз носят, а тут ухо надо востро держать. Рысь часто ходит... Если кинется на плечи, мне так ловчей пальнуть... Так?

— Ого-го-го!.. — неожиданно для меня гаркнул дядя Вася.

Прошло мгновение, другое... И, погружённая в белые сны, чаща откликнулась звучно и молодо:

— О-о-о! О! О!..

— Ба-и-рыч! Как твои девки? Не плодятся ишшо?

— Учатся. Школу кончают.

— Ну а твои как дела? — Лесник обернулся ко мне. — Ты ж из Москвы?

— Да. А как?..

— А просто... Наши парни — как всегда. Им всё привычно. А ты глядишь, будто запомнить надо.

— Дела мои... Ну, более-менее...

— А ты молодец. Не жалуешься. Кто жалуется, тому и дело не сделать, и счастья не видать. Так?

— Вроде так.

— Ого-го-го! — снова, запрокинув голову, прокричал дядя Вася. И, шутиливо кося глазом, приставил ладонь к уху: услышу, мол, ответ или нет.

— О-о-о! — отозвалась тайга. — О! О!..

— Порядок, — сказал лесник. — Гут. Поговорили.

Дядя Вася убавил шаг, и я поравнялся с ним. Наши спутники ушли вперёд.

— Как вам тут, дядя Вася? Безлюдно и...

— И не страшно, и не скучно, и не плохо. Бабка у меня золотая... А тайга — чо? Я её понимаю, и она меня понимает вроде... Люди приезжают человеческие... Хорошо мне, друг, хорошо...

Я хотел включить в комнате свет, но передумал и снова подошёл к окну. В сумерках во дворе носились друг за другом две чёрные собачонки. Их хозяйки, молодые женщины, стояли в середине протоптанного собачками круга и курили. Одна, повыше ростом, стояла неподвижно, а другая то при-

ближала своё лицо к лицу собеседницы, то резко отшатывалась и грозила пальцем не видимому в морозном пространстве виновнику её бед или неурядиц. И вдруг почти явственно увиделась мне жена лесника дяди Васи — Клавдия Васильевна. Вспомнил, как он объявил ещё на крыльце, что, мол, бабка хворает, отлёживается... Но Клавдия Васильевна, бледная, в тёмном платке, вышла к нечаянным гостям, накрыла стол, а потом всё охала да ахала над нами... “А отец жив?.. Ну, слава Богу! А мама?.. Слава, слава Богу!.. А бабушка и дедушка?.. И давно?.. Царство им Небесное... Ах, детки-детки...” А когда прощались, совала нам банки с грибами, вареньем, голубицей целебной... Будто детей своих в путь-дорогу провожала и рукою с крыльца махала, махала... И улыбалась.

Бледная, в тёмном платке...

## ЧЁРНАЯ БАБОЧКА С БЕЛОЙ ОТОРОЧКОЙ

### РАССКАЗ

Никита Зернов умер тёмной июльской ночью в краевой больнице, вдали от родных московских переулков. Ничто, казалось, не предвещало скорого конца, но, как говорится, мы предполагаем, а Господь располагает...

Выставка его картин в Японии прошла весьма успешно. Так, по крайней мере, считал он сам. Местная же пресса оценила творчество русского живописца более выразительными словами, но в том ли суть... Домой возвращались всего шесть его работ, остальные же обрели новый приют, новую и, может быть, долгую жизнь.

Никите стало плохо на самом подлете к аэродрому. Будто острой ледяной иглой ударило под левую лопатку; потом боль медленно потекла по левой руке — до самых кончиков пальцев. Он, только что толковавший о житье-бытье с соседом, тоже русским, молодым фирмачом из Питера, сразу обмяк в кресле; лоб, руки, всё тело покрылось холодной испариной; как-то разом его оставили силы, он не мог даже поднять веки...

Через полчаса Зернов уже лежал в реанимационной палате, так и не увидев этот чудесный дальневосточный город.

Жизнь Никиты Зернова была, если не считать последних пяти лет, пожалуй, обыкновенная. Как жизни тысяч и тысяч его сверстников и даже большинства людей его художественного цеха. Школа, армия, институт, женитьба, вечная нехватка денег, рождение ребёнка... И, конечно же, — какая приправа к пресному житью! — кухонные ночные посиделки, где его сверстники, а то и люди постарше, само собой, все непризнанные гении, спорили о политике, о существующем режиме, который душит железной рукой гражданские и творческие свободы... Но всё это — и шумные споры, и громкие манифесты, и новые гости — улетучивалось утром вместе с дымком похмелья. И только не оставляла — дни, месяцы и годы — годы одна, какая-то подспудная мысль-жалоба: не то всё, не то... А что не то, он и сам пока что не знал. Мама — тьфу-тьфу! — жива-здоровая, есть жена-красавица, растёт сын, есть отдельная квартира да и кой-какие способности у самого имеются (как без них попал бы в Суриковский?). Что же “не то”?.. И режим проклятый вот уже рухнул, и свободы море разлитое, и рука кой-чему научилась...

А пять лет назад он ушёл из дома. То ли надоели частые назидания жены-искусствоведа (“Дорогой мой, сам знаешь, что кормит современного художника — абстракция и авангард... Да-да, чёрточки, заплаточки, кубики, треугольнички! А ты упёрся в свой древний реализм! Ну выставлялся, ну и что?”), то ли её, Лилькины, поздние возвращения домой (запашок коньяка, аромат дорогого французского одеколона), то ли что-то ещё... Но однажды весенним утром — как хорошо, ярко тогда светило солнышко! — он собрал свои вещи в чемодан и ушёл на Башиловку, в мастерскую. Насовсем. Навсегда.

С Инной он познакомился на вечеринке у давнего приятеля, закоренелого холостяка. Компания была нешумная. Баловались хорошим вином, покуривали сигареты, бродили по старинной просторной квартире, разглядывая картины — последние изыски хозяина.

Она пришла с подружкой его приятеля. Ничего особенного, яркого — ни в одежде, ни во внешности. Обычная девушка, пардон, женщина. Невысокая. Ладненькая. Весёлая. Но что-то было в ней такое, что он не мог назвать словами. Что-то нежно встревожило его. Тёплый грудной голос? Внезапная детская улыбка? Необычайно тёплый взгляд? Как бы там, что бы там ни было, но они почти сразу тайно узнали друг друга, как бы перекликнулись: это ты?.. это ты?..

В следующий выходной Никита и Инна пошли в Центральный Дом художника, на какую-то выставку. Посмотрели. Погуляли. Поболтали. О том, о сём. Потом встретились ещё раз... И ещё. А через месяц-полтора она оголошала его вопросом:

— Дорогой Никита! А не желаете ли вы отдохнуть на Оке-реке? Лето в разгаре, между прочим.

— Если вместе — да.

— Я приглашаю. У брата есть дом в деревне, по-современному — дача. Ключи у меня.

— А как же муж?

— Два дня назад наша общая с ним судьба окончилась. Поставлена последняя точка.

И она припала к его плечу.

...Там, за рекой, за потемневшими холмами клубились сизые тучи. Мощно и широко погромыхивало, точно кто-то невидимый перекатывал с места на место огромные пустые бочки.

Когда они по тропе поднялись повыше и река стала видна от берега до берега, Никита повесил полотенце на шею и, ухватившись за его концы, спросил:

— Давно обратил внимание... Что это за дом за рекой? Вон тот, на холме... Красиво смотрится... Красный кирпич, такие зелёные купы... Владение местного богатея?

Инна прислонилась к нему спиной и, не оборачиваясь, ответила:

— Нет, миленький, не богатея тут живёт...

— Санаторий, что ли?

— Теплее.

И плотнее прижалась к Никите.

— Дом отдыха?

— Дом печали.

И вдруг обернулась, обхватила его руками.

— Я так боюсь тебя потерять! Я всю жизнь тебя искала! Ты мой родной! Ты родной мой!

А когда они уже подходили к дому. Инна коротко взглянула на Никиту.

— Там, в доме за рекой, живут те, кто потерял рассудок...

На “Дом печали” у него ушло около недели.

Когда Инна посмотрела законченную работу, то сказала коротко:

— Да.

Для него это означало: она сказала “да” запечатлённому: да — зареч-

ным былинным далям; да — сизым клубящимся тучам; да — огненному небесному древу; да — ему. Она и ему сказала — да!

И он сказал себе о сделанном так же коротко: “То”! А вслух тоже сказал: — Да.  
“Треугольнички, кубики...”

Ежедневные походы Никиты к роднику, за водой, дарили ему, сорокапятилетнему, давно забытые ощущения юности и силы. Он садился на обветренное и высушенное солнцем почерневшее бревно и осматривался, как будто не вчера и не позавчера был на этом же месте и будто не летали эти синие и зеленые стрекозы; будто не видел эти пышные розовые соцветья иван-чая; будто не созерцал у своих ног эту милую вертлявую птичку — трясогузку; будто...

А вот её-то он действительно увидел только сегодня. Сейчас. На самом конце бревна примостилась большая чёрная бабочка. Откуда взялась? Как её именуют? Чёрная, белые обводы по краям крыльшек... И для себя тут же определил, как он будет её называть: чёрная бабочка с белой оторочкой! Да, так... Именно так!

Никита Зернов удивлялся в своей жизни многому. И хорошему, и плохому. Разному. Но теперь, после возвращения в Москву с берегов Оки, он небывало удивлялся самому себе. Он внутренне преображался. Что было тому причиной? Внезапная любовь? (“Господи, за что мне такой неслыханный дар?” — почти каждое утро со слезами на глазах вопрошал Никита.) Или вот так несуетно увиденная русская красота? А может быть, неспешная, долгая работа души? Или это все вместе слилось в некую гармонию?

Перемены в нём заметили многие друзья, знакомые. Первым — старинный приятель Саша Соколов (“Спасибо тебе, Саша, — не раз мысленно благодарил его Зернов. — Это у тебя познакомился с Инной!”). Они встретились на Преображенке, недалеко от нового места жительства Никиты и Инны.

— Никитус, привет! Откуда здесь? — широко раскинув руки для дружеских объятий, спросил Соколов.

От него, рыжебородого, крепкого телом, как всегда, исходило веселье и добродушие.

— Да вот... живу здесь.

— Инна?

— Да.

— Любовь?

— Любовь.

Никита не стыдился этого признания. Оно ему доставляло радость.

— Так приходите завтра вечером ко мне. Будут все наши. Поболтаем, погуляем... Эх!

— Вряд ли, — честно признался Зернов.

— А что такое? Чем ты, кстати, сейчас занимаешься? — Соколов явно был удивлён. Надо же! Сколько не виделись — и вот те на!..

— Думаю.

— О чем, брат?

— О большом.

— Ага, понятно.

Соколов помолчал. Потом протянул большую обмякшую руку.

— Звони.

— Пока.

На вернисаж в Битцу Зернов теперь ездил редко. Так, любопытства ради. А скорее даже, — Инну немного развлечь. Тамошние знакомые вопрошали: в чем, мол, дело? Где работы? Зернов разводил руками: пока нет ничего. Бывали на выставках. Но тоже — не часто. Уж если что-нибудь действительно стоящее, настоящее, близкое...

Изредка встречался с сыном, студентом университета. Иногда с ним гуляли просто так, иногда заходили в кафе, пили пиво, курили, говорили об учёбе, о перспективах будущей работы Фёдора. Как-то Никита рассказал ему о поездке — пока единственной — в Суздаль. О красоте города, храмов, мо-



настырей... Но сын ни о чём не расспрашивал, только чуть пожимал плечами: что ты, мол, такого интересного увидел? Вот Москва — это Москва...

“Да, — подумал Никита, — Москва — это Москва... Действительно так...”

Лильке он звонил редко; только тогда, когда нужно было договориться о встрече с Фёдором. У него, Никиты, теперь совсем другая жизнь. Своя. У неё — своя. С новым и, наверное, умным и хорошим мужем.

По утрам, когда Инна уходила на работу, в туристическую фирму, он ехал в мастерскую. Звонил Инне, докладывал о том, что всё в порядке, и принимался за работу... Иногда там же, в мастерской, примостившись на старом диване (подарок Саши Соколова), читал Осипыча. Так он называл про себя историческую летопись Ключевского. Глубь времён притягивала, манила его... Зачем ему сие чтение? Зачем? Над этим он почти не задумывался. Тянет, значит, надо. Надо. Не случайно же потом встали непрощенные, как бы сами по себе, перед его мысленным взором сюжеты цикла картин “Смута”. “Нет-с, господа хорошие, нет в нашем подлунном мире ничего случайного. Лилька — не случайна, Фёдор — не случаен, Инна — не случайна, даже Саша Соколов и его диван в моей мастерской — не случайны...” — так раздумывал Зернов, отложив в сторону кисть и вглядываясь в свою новую работу “Сын”. Фёдор, лет четырнадцать, смотрит сквозь чуть синеватое зимнее окно, смотрит, чуть подавшись вперёд... Чего он ждёт? Кого? О чем просит? Чем так задета его нежная ребячья душа?..

Новые картины Зернов не продавал. Так, две-три, те, что ему показались слабенькими. Вернее, даже не слабенькими... Просто они были “не те”. Продавал старые. Из той, другой, жизни. А выставляться — выставлялся. Но теперь уже, как говорят ныне, в престижных галереях. Дело ли случая (бывшая однокурсница, бывшая художница, но, слава Богу, не бывший друг — малость помогла), яблочко ли зелёное созрело... Но, словом, стало его имя входить в серьёзные каталоги и прочая. Лед — пока что в верховьях — тронулся...

По воскресеньям иногда прогуливались по старинному Преображенскому кладбищу. Шли по тропинкам, разглядывали давние надгробья, всё время держась за руки, как некогда пионеры... Смотрели на шумливых грачей... Слушали звон колоколов... Инна, когда они останавливались у какой-нибудь всеми позабытой могилы, поднимала глаза и молча спрашивала его, Никиту: “Вот был человек — и нет его... Почему?.. Мы будем с тобой до конца? Ты не оставишь меня одну в этом огромном мире? Да?..”

“Да, я люблю тебя, — взглядом отвечал ей Зернов. — Я не оставлю тебя одну в этом огромном мире”.

Вроде бы не самое лучшее место для прогулок — кладбище. Тяжёлое и печальное должен навевать уже сам его вид. Но — нет. Чистая, как осенний воздух, грусть... Лёгкая, чуть прохладная грусть... И кажущееся — или настоящее? — созревание чего-то нового, неизведанного. Чего?..

...Медсестра наклонилась к его лицу. И отпрянула. Каблучки быстро-быстро простучали по палате... Вот она птичкой — полы белого халата, как крылья! — летит по безлюдному ночному коридору. Он, Никита, видит, как сестричка вбегает-влетает в кабинет дежурного врача.

— Доктор!.. Доктор!.. Он умер!

— Кто? — Доктор бросает на столик цветной журнал.

— Тот, новенький!

“Я?.. Я не умер, — говорит Никита. — Я же вас вижу и слышу! Я жив!”

Доктор встаёт с кресла.

— Пойдем!

Никита видит свою картину. Её кто-то невидимый медленно приближает к его глазам. Да, это она, его картина. Чёрная огромная бабочка... У неё — глаза Инны. (“Ореховые”, — так она говорила о цвете своих глаз). Вот внизу название: “Чёрная бабочка с белой оторочкой”. Вот, в уголке, его подпись.

Рука уже холодная... Всё!

“Чья рука холодная? — удивляется Зернов. — И почему доктор повернулся ко мне спиной?..”

Черная бабочка, нежно поблескивая любимыми глазами, вспархивает с полотна и садится на его тёплую ладонь.

“Какая она невесомая! — думает Никита. — Как пушинка!”

— ...и место освободить... — слышит он голос доктора, но доктор ему уже не интересен. Никита видит зелёный холм за Окой, а на его вершине — дом печали. А там, дальше, над полями и лесами тяжело ворочаются в небе сизые тучи, вспыхивает, ослепляя, огромное огненное дерево...

Тёплое дыхание овеяло его руку. Никита смотрит на ладонь... “А, это вспорхнула чёрная бабочка с нежными глазами!” — догадывается Никита. И — точно! Вот она уже летит туда, в заречную даль, и всё уменьшается, уменьшается... Вот ещё один взмах... И бабочка превратилась в чёрную точку.